

Виктор
ГЮГО

Отверженные

Роман

Части I–III



АЗБУКА

Санкт-Петербург

До тех пор, пока в силу законов общества и его нравов над человеком будет тяготеть проклятие, которое в эпоху расцвета цивилизации создает для него ад на земле и отягчает его судьбу, зависящую от Бога, пагубными усилиями людей; до тех пор, пока не будут разрешены три основные проблемы нашего века: угнетение мужчины, принадлежащего к классу пролетариата, падение женщины по причине голода, увядание ребенка вследствие мрака невежества; до тех пор, пока в некоторых слоях общества будет существовать застой; иными словами и беря шире — до тех пор, пока на земле не перестанут царить нужда и невежество, — книги, подобные этой, будут, пожалуй, бесполезны.

Отвиль-Хауз, 1862 г.

Часть I

Фантина

КНИГА ПЕРВАЯ

Праведник

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шарль Мириэль

В 1815 году Шарль-Франсуа-Бьенвеню Мириэль был епископом города Диня. Это был старик лет семидесяти пяти; епископскую кафедру в Дине он занимал с 1806 года.

Хотя это обстоятельство никак не затрагивает сущности того, о чем мы собираемся рассказать, все-таки будет, пожалуй, бесполезно, для соблюдения полнейшей точности, упомянуть здесь о толках и пересудах, вызванных в епархии приездом Мириэля. Правдива или лжива людская молва, она часто играет в жизни человека, и особенно в дальнейшей его судьбе, не менее важную роль, чем его поступки. Мириэль был сыном советника судебной палаты в Эксе и, следовательно, принадлежал к судейской аристократии. Рассказывали, что его отец, желая передать ему по наследству свою должность и придерживаясь обычая, весьма распространенного тогда в кругу судейских чиновников, женил сына очень рано, когда тому было лет восемнадцать—двадцать. Однако, если верить слухам, Шарль Мириэль и после женитьбы давал обильную пищу для разговоров. Он был хорошо сложен, хотя и несколько маловат ростом, изящен, ловок, остроумен; первую половину своей жизни целиком посвятил свету и любовным похождениям.

Но вот произошла революция; события стремительно сменялись одно другим; семьи судейских чиновников, поредевшие, преследуемые, гонимые, рассеялись в разные стороны. Шарль Мириэль в первые же дни революции эмигрировал в Италию. Там его жена умерла от грудной болезни, которой давно уже страдала. Детей у них не было. Как же сложилась дальнейшая судьба Мириэля? Крушение

старого французского общества, гибель семьи, трагические события 93-го года, быть может еще более грозные для эмигрантов, следивших за ними издали со все возрастающим страхом, — не это ли впервые заронило в его душу мысль об отречении от мира и одиночестве? Не был ли он в разгаре каких-нибудь развлечений и увлечений внезапно поражен одним из тех таинственных и грозных ударов, которые порой, попадая прямо в сердце, повергают во прах человека, способного устоять перед общественной катастрофой, даже если она разбивает ему жизнь и уничтожает его материальное благополучие? Никто не мог бы ответить на эти вопросы; известно было лишь, что из Италии Мириэль вернулся священником.

В 1804 году Мириэль был приходским священником в Бриньоле. Он был уже стар и жил в полном уединении.

Незадолго до коронации какое-то незначительное дело, касавшееся его прихода, — теперь уже трудно установить, какое именно, — привело его в Париж. Среди прочих власть имущих особ, к которым он обращался с ходатайством за своих прихожан, ему пришлось побывать у кардинала Феша. Как-то раз, когда император приехал навестить своего дядю, почтенный кюре, ожидавший в приемной, оказался лицом к лицу с его величеством. Заметив, что старик с любопытством его рассматривает, Наполеон обернулся и резко спросил:

— Что вы, добрый человек, так на меня смотрите?

— Государь, — ответил Мириэль, — вы видите доброго человека, а я — великого. Каждый из нас может извлечь из этого некоторую пользу.

В тот же вечер император спросил у кардинала, как зовут этого кюре, и немного времени спустя Мириэль с изумлением узнал, что его назначили епископом в Динь.

Впрочем, насколько достоверны были рассказы о первой половине жизни Мириэля, никто не знал. Семья Мириэля была мало известна до революции.

Мириэлю пришлось испытать судьбу всякого нового человека, попавшего в маленький городок, где много языков, которые болтают, и очень мало голов, которые думают. Ему пришлось испытать это, хотя он был епископом,

и именно потому, что он был епископом. Впрочем, слухи, которые люди связывали с его именем, были всего только слухи, намеки, словечки, пустые речи, попросту говоря, если прибегнуть к выразительному языку южан, *околесица*.

Как бы то ни было, но после девятилетнего пребывания епископа в Дине все эти рассказы и кривотолки, которые всегда занимают вначале маленький городок и маленьких людей, были преданы глубокому забвению. Никто не осмелился бы теперь их повторить, никто не осмелился бы даже вспомнить о них.

Мириэль прибыл в Динь вместе с пожилой девицею, Батистиной, своей сестрой, которая была моложе его на десять лет.

Их единственная служанка, Маглуар, ровесница Батистины, бывшая прежде «служанкой кюре», получила теперь двойное звание: «горничной мадмуазель Батистины» и «экономки его преосвященства».

Батистина была высокая, бледная, худощавая, кроткая девушка. Она олицетворяла собой идеал всего, что заключается в слове «достоуважаемая», ибо, как нам кажется, одно лишь материнство дает женщине право называться «досто-чтимой». Она никогда не была хороша собой, но ее жизнь, являвшаяся непрерывной цепью добрых дел, в конце концов придала ее облику какую-то белизну, какую-то ясность, и, состарившись, она приобрела то, что можно было бы назвать «красотой доброты». Что в молодости было худобой, в зрелом возрасте обратилось в воздушность, и сквозь эту прозрачную оболочку светился ангел. Это была девственница, более того — это была сама душа. Она казалась сотканной из тени; ровно столько плоти, сколько нужно, чтобы слегка наметить пол; комочек материи, светящийся изнутри; большие глаза, всегда опущенные долу, словно душа ее искала предлога для своего пребывания на земле.

Маглуар была маленькая старушка, седая, полная, даже тучная, хлопотливая, всегда задыхавшаяся, во-первых, от постоянной беготни, во-вторых, из-за мучившей ее астмы.

Когда Мириэль прибыл в город, его с почестями водворили в епископском дворце, согласно императорскому декрету, который в списке чинов и званий ставит епископа

непосредственно после бригадного генерала. Мэр и председатель суда первые нанесли ему визит; к генералу же и префекту первым поехал Мириэль.

Когда епископ вступил в управление епархией, город стал ждать, как он проявит себя на деле.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Священник Мириэль

превращается в монсьёра Бьенвеню

Епископский дворец в Дине примыкал к больнице.

Дворец представлял собой огромное, прекрасное каменное здание, построенное в начале прошлого столетия Анри Пюже — доктором богословия Парижского университета, аббатом Симорским, с 1712 года епископом Диньским. Это был поистине княжеский дворец. Все здесь имело величественный вид: и апартаменты епископа, и гостиные, и парадные покои, и обширный двор со сводчатыми галереями в старинном флорентийском вкусе, и сады с великолепными деревьями. В столовой — длинной и роскошной галерее, расположенной в нижнем этаже и выходящей в сад, — Анри Пюже дал 29 июля 1714 года парадный обед, на котором присутствовали Шарль Брюлар де Жанлис, архиепископ и князь Амбренский; Антуан де Мегриньи, капуцин, епископ Грасский; Филипп Вандомский, великий приор Франции; аббат Сент-Оноре Леренский; Франсуа де Бергон Крильонский, епископ, барон Ванский; Сезар де Сабран Форкалькьерский, владетельный епископ Гландевский, и Жан Соанен, пресвитер орагии, придворный королевский проповедник, владетельный епископ Сенезский. Портреты этих семи высокочтимых особ украшали стены столовой, а знаменательная дата — 29 июля 1714 года — была золотыми буквами выгравирована на белой мраморной доске.

Больница помещалась в тесном, низеньком двухэтажном доме, при котором был небольшой садик.

Через три дня после приезда епископ посетил больницу, а затем попросил смотрителя пожаловать к нему.

— Господин смотритель! Сколько больных у вас в настоящее время? — спросил он.

— Двадцать шесть, ваше преосвященство.

— Да, я насчитал столько же, — подтвердил епископ.

— Кровати стоят слишком близко одна к другой, — добавил смотритель.

— Да, я заметил.

— Комнаты не приспособлены для палат, и проветривать их довольно затруднительно.

— И мне так показалось.

— А когда выпадает солнечный день, садик не вмещает всех выздоравливающих.

— Я тоже об этом подумал.

— Во время эпидемий — в нынешнем году был тиф, а два года тому назад горячка — у нас бывает иногда до сотни больных, и мы просто не знаем, что с ними делать.

— Да, эта мысль тоже пришла мне в голову.

— Ничего не поделаешь, ваше преосвященство, — сказал смотритель, — приходится мириться.

Этот разговор происходил в столовой нижнего этажа, имевшей форму галереи.

С минуту епископ хранил молчание.

— Сударь, — спросил он смотрителя больницы, — сколько кроватей могло бы, по-вашему, поместиться в одной этой комнате?

— В столовой вашего преосвященства? — с изумлением вскричал смотритель.

Епископ обводил комнату взглядом и, казалось, мысленно производил какие-то измерения и расчеты.

— Здесь можно разместить не менее двадцати кроватей, — сказал он как бы про себя. — Послушайте, господин смотритель, вот что я хочу сказать, — продолжал он громче. — Тут, по-видимому, какая-то ошибка. Вас двадцать шесть человек, и вы ютитесь в пяти или шести маленьких комнатках. Нас же только трое, а места у нас хватит на шестьдесят человек. Повторяю, тут явная ошибка. Вы заняли мое жилище, а я ваше. Верните мне мой дом. Здесь же хозяйева — вы.

На следующий день все двадцать шесть больных бедняков были переведены в епископский дворец, а епископ занял больничный домик.

Мириэль не имел состояния, его семья была разорена во время революции. Сестра его пользовалась пожизненной рентой в пятьсот франков, которых при их скромной жизни в церковном доме хватало на ее личные расходы. Как епископ, Мириэль получал от государства содержание в пятнадцать тысяч ливров. Перебравшись в больницу, он в тот же день раз и навсегда распределил эту сумму следующим образом. Приводим смету, написанную им собственноручно:

СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОИХ ДОМАШНИХ РАСХОДОВ

На малую семинарию	1500 ливров
Миссионерской конгрегации	100 ливров
На лазаристов в Мондидье	100 ливров
Семинарии иностранных духовных миссий в Париже	200 ливров
Конгрегации Св. Духа	150 ливров
Духовным заведениям Святой земли	100 ливров
Обществам призрения сирот	100 ливров
Сверх того, тем же обществам в Арле	50 ливров
Благотворительному обществу по улучшению содержания тюрем	400 ливров
Благотворительному обществу вспомоществования заклученным и их освобождения	500 ливров
На выкуп из долговой тюрьмы отцов семейств	1000 ливров
На прибавку к жалованью нуждающимся школьным учителям епархии	2000 ливров
На запасные хлебные магазины в департаменте Верхних Альп	100 ливров
Женской конгрегации в городах Динь, Манок и Систерон на бесплатное обучение девочек из бедных семей	1500 ливров
На бедных	6000 ливров
На мои личные расходы	1000 ливров

Итого — 15 000 ливров.

За все время своего пребывания в Дине епископ Мириэль ничего не изменил в этой записи. Как видим, он называл ее сметой распределения своих домашних расходов.

Батистина приняла такое распределение средств с полной покорностью. Для этой святой души епископ Диньский являлся одновременно и братом и пастырем; братом — по закону кровного родства и наставником — по закону церкви. Она любила его и благоговела перед ним, не мудрствуя лукаво. Когда он говорил, она слушала и не возражала; когда он действовал, она безоговорочно одобряла. Одна лишь служанка, Маглуар, тихонько ворчала. Как мы могли заметить, епископ оставил себе только тысячу ливров, что вместе с пенсией Батистины составляло полторы тысячи ливров в год. На эти-то полторы тысячи и жили две старушки и старик.

А когда в Динь приезжал какой-нибудь сельский священник, епископ ухитрялся еще благодаря строгой экономии Маглуар и умелому хозяйничанью Батистины угостить его хорошим обедом.

Однажды — это было месяца через три после его прибытия в Динь — он сказал:

— А все-таки я очень стеснен в средствах!

— Еще бы! — вскричала Маглуар. — Ведь ваше преосвященство не требовали с департамента даже разъездных, которые вам ежегодно обязаны выдавать на содержание городского экипажа и на поездки по епархии. Прежние епископы всегда пользовались этими деньгами.

— А ведь верно! — сказал епископ. — Госпожа Маглуар! Вы совершенно правы.

Он написал соответствующее ходатайство.

Через некоторое время генеральный совет, приняв требование епископа во внимание, назначил ему ежегодную сумму в три тысячи франков, занеся ее в следующую статью расхода: «Ассигнование преосвященнейшему владыке на содержание экипажа, на почтовые кареты и на разъезды по епархии».

Это вызвало шум среди местной буржуазии; один сенатор Империи, бывший член Совета пятисот, выказавший себя сторонником 18 брюмера и получивший в окрестно-

стях Диня великолепное сенаторское поместье, написал в раздраженном тоне министру вероисповеданий Биго де Преамене конфиденциальную записку, из которой мы до-словно приводим следующие строки:

«Издержки на содержание экипажа! На что нужен экипаж в городе, где нет и четырех тысяч жителей? Издержки на разъезды по епархии! Да, во-первых, кому они нужны, эти разъезды? А во-вторых, как можно разъезжать на почтовых в этой гористой местности? Здесь нет дорог. Ездить можно только верхом. Мост через Дюрансу у Шато-Арну и тот едва выдерживает тяжесть двухколесной тележки, запряженной волами. Священники все на один лад — жадны и скупы. Этот притворился для начала порядочным человеком. Теперь он поступает как все. Ему понадобились экипажи и почтовые кареты! Как и прежним епископам, ему понадобилась роскошь. Ох уж эти мне попы! Поверьте, ваше сиятельство, до тех пор, пока император не освободит нас от всех этих долгополох, ничего хорошего не будет. Долой папу! (Дела с Римом запутывались.) Я за Цезаря, и только за Цезаря. И т. д., и т. д.»

Зато эти деньги очень обрадовали Маглуар.

— Вот и хорошо, — сказала она Батистине. — Его пресвященство начал с других, но в конце концов пришлось ему подумать и о себе. Все свои благотворительные дела он уладил. А уж эти три тысячи пойдут на нас. Наконец-то!

В тот же вечер епископ написал и вручил сестре такого рода памятку:

СУММА НА СОДЕРЖАНИЕ ЭКИПАЖА И НА РАЗЪЕЗДЫ

На мясной бульон для лазаретных больных . . .	1500 ливров
На общество призрения сирот в Эксе	250 ливров
На общество призрения сирот в Драгиньяне . .	250 ливров
На подкидышей	500 ливров
На сирот	500 ливров

Итого — 3000 ливров

Таков был бюджет епископа Мириэля.

Что касается побочных епископских доходов — с церковных оглашений, разрешений, крестин, проповедей, с освя-

щения церковей или часовен, венчаний т. д., то епископ ревностно взимал деньги с богатых, но все до последнего гроша отдавал бедным.

В скором времени пожертвования начали стекаться к нему со всех сторон. Как имущие, так и неимущие — все стучались в двери Мириэля; одни приходили за милостыней, другие приносили ее. Не прошло и года, как епископ сделался казначеем всех благотворителей и кассиром всех нуждающихся. Значительные суммы проходили через его руки, но ничто не могло заставить его изменить свой образ жизни и позволить себе хотя бы малейшее излишество сверх необходимого.

Напротив. Так как всегда больше нужды внизу, чем братского милосердия наверху, то, можно сказать, все раздавалось еще до того, как получалось, — так исчезает вода в сухой земле. Сколько бы ни получал епископ, ему всегда не хватало. И он грабил самого себя.

По обычаю, епископы проставляли на заголовках пастырских посланий и приказов все имена, данные им при крещении, и местные бедняки, руководимые любовью к своему епископу, из всех его имен бессознательно выбрали то, которое показалось им наиболее исполненным смысла. Они стали называть его не иначе, как «монсеньор Бьенвеню»¹. Мы последуем их примеру и при случае будем называть его так же. Тем более что это прозвище нравилось и ему самому. «Я люблю это имя, — говаривал он. — Бьенвеню служит поправкой к „монсеньору“».

Мы не притязаем на то, что портрет, нарисованный нами здесь, правдоподобен; скажем одно — он правдив.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Доброму епископу трудная епархия

Обратив свою почтовую карету в милостыню для бедных, епископ отнюдь не прекратил своих разъездов. Между тем путешествовать по Диньской епархии утомительно. Там мало равнин, много гор и почти нет дорог, о чем мы

¹ *Бьенвеню* (bienvenu) — желанный; желанный гость (*фр.*).

уже знаем из предыдущей главы; там тридцать два церковных прихода, сорок один викариат и двести восемьдесят пять приходских церквей. объехать все это — нелегкое дело. Но епископ преодолевал трудности. Он отправлялся пешком, когда идти было недалеко, в одноколке — если предстояло ехать по равнине, и верхом — в горы. Старушки сопровождали его. В тех случаях, когда путешествие оказывалось им не под силу, он уезжал один.

Однажды он прибыл в старинную епископскую резиденцию Сенез верхом на осле. Кошелек его был в ту пору почти совершенно пуст и не позволял ему какого-либо иного способа передвижения. Мэр города, встретивший его у подъезда епископского дворца, смотрел негодующим взглядом, как его преосвященство слезает с осла. Горожане вокруг пересмеивались.

— Господин мэр и вы, господа горожане! — сказал епископ. — Мне понятно ваше негодование. Вы находите, что со стороны такого скромного священника, как я, слишком большая дерзость ездить на животном, на котором восседал сам Иисус Христос. Уверяю вас, я приехал на осле по необходимости, а вовсе не из тщеславия.

Во время своих объездов он бывал снисходителен, кроток и не столько поучал людей, сколько беседовал с ними. За доводами и примерами он далеко не ходил. Жителям одной местности он приводил как образец другую, соседнюю. В округах, где не сочувствовали беднякам, он говорил:

— Посмотрите на жителей Бриансона. Они разрешили неимущим, вдовам и сиротам косить луга на три дня раньше, нежели остальным. Они даром отстраивают им дома, когда старые приходят в негодность. И Бог благословил эту местность. За целое столетие там не было ни одного убийства.

В деревнях, где люди были падки до наживы и стремились поскорее убрать с поля свой урожай, он говорил:

— Посмотрите на жителей Амбрена. Если отец семейства, у которого сыновья находятся в армии, а дочери служат в городе, заболит во время жатвы и не может работать,

то священник упоминает о нем в проповеди, и в воскресенье после обедни все поселяне — мужчины, женщины, дети — идут на поле этого бедняги, собирают его урожай и сносят солому и зерно в его амбар.

Семьям, в которых происходили раздоры из-за денег или наследства, он говорил:

— Посмотрите на горцев Девольни, той дикой местности, где ни разу за пятьдесят лет не услышишь соловья. Так вот, когда там умирает глава семьи, сыновья уходят на заработки и все имущество оставляют сестрам, чтобы те могли найти себе мужей.

В округах, где любили сутяжничать и где фермеры разорялись на гербовую бумагу, он говорил:

— Посмотрите на добрых крестьян Кейрасской долины. Их три тысячи душ. Господи боже! Да это настоящая маленькая республика! Там не знают ни судьи, ни судебного пристава. Мэр все делает сам. Он раскладывает налоги, облагая каждого по совести; бесплатно разбирает ссоры, безвозмездно производит раздел имущества между наследниками; он выносит приговоры, не требуя покрытия судебных издержек, и простые люди повинуются ему, как справедливому человеку.

В деревнях, где не было школьных учителей, он опять-таки ссылался на кейрасцев.

— Знаете, как они поступают? — говорил он. — Маленькое селенье в двенадцать или пятнадцать дворов не всегда может прокормить учителя, и вот они сообща, всей долиной, нанимают наставников, которые и учат детей, переходя из деревни в деревню и проводя неделю в одной, дней десять в другой. Эти учителя бывают на ярмарках, там я и видел их. Вы сразу можете узнать их по гусиным перьям, засунутым за шнурок шляпы. Те из них, которые обучают только грамоте, носят одно перо; те, которые обучают грамоте и счету, — два, а те, которые обучают грамоте, счету и латыни, — три. Эти последние — великие ученые. Ну не стыдно ли оставаться невеждами? Поступайте же как кейрасцы.

Таковы были его речи, глубокомысленные и отечески-заботливые; если ему не хватало примеров, он придумы-

вал притчи, прямо ведущие к цели, немногословные, но образные, — этой особенностью отличалось и красноречие Иисуса Христа, проникнутое убеждением, а потому убедительное.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Слово не расходится с делом

Его беседа была исполнена приветливости и веселья. Он умел приноровиться к понятиям двух старых женщин, чья жизнь протекала вблизи него; смеялся он от души, как школьник.

Маглуар любила называть его «ваше высокопреподобие». Однажды, встав с кресла, он подошел к книжному шкафу за книгой. Книга стояла на одной из верхних полок. Епископ был мал ростом и не мог достать ее.

— Госпожа Маглуар! — сказал он. — Принесите мне стул. Мое высокопреподобие недостаточно высоко, чтобы дотянуться до этой полки.

Одна из его дальних родственниц, графиня де Ло, редко упускала случай перечислить при встрече с ним то, что она называла «надеждами» своих трех сыновей. У нее было несколько престарелых, близких к смерти родственников по восходящей линии, и сыновья ее являлись их прямыми наследниками. Младшему сыну предстояло получить после двоюродной бабушки не менее ста тысяч ливров ренты; средний должен был унаследовать от своего дядюшки герцогский титул; старшего ждал после смерти деда титул пэра. Обычно епископ молча слушал это простодушное и простительное материнское хвастовство. Но как-то раз, когда де Ло без конца излагала со всеми подробностями все эти наследования и все эти «надежды», епископ показался ей более рассеянным, чем всегда. Прервав свои излияния, она спросила не без досады:

— Ах, боже мой! О чем вы задумались?

— Я думаю, — ответил епископ, — об одном странном изречении, которое я нашел, кажется, у блаженного Августина: «Возложите надежды ваши на того, кому никто не наследует».

В другой раз, получив письмо, в котором его просили присутствовать на погребении местного дворянина и где на целой странице торжественно перечислялись не только звания покойного, но и все ленные и аристократические титулы его родных, епископ вскричал:

— Ну и крепкая же спина у смерти! Просто удивительно, какой груз титулов беззаботно взвалили на нее люди и как остроумно сумели они воспользоваться для утоления своего тщеславия даже могилой!

При случае он любил пошутить, но его легкая насмешка почти всегда скрывала серьезную мысль. Однажды во время поста в Динь приехал молодой викарий и произнес в соборе проповедь. Он оказался довольно красноречив. Темой его проповеди было милосердие. Он увещевал богатых помогать неимущим, дабы избежать ада, который он обрисовал в самых мрачных красках, и заслужить рай, который он изобразил блаженным и прекрасным. В числе прочих прихожан был богатый, удалившийся от дел торговец, он же и ростовщик, Жеборан, наживший два миллиона выделкой толстых сукон, разных сортов саржи и фесок. Ни разу в жизни Жеборан не подал милостыни ни одному нищему. После этой проповеди было замечено, что он каждое воскресенье подает одно су старухам-нищенкам, стоящим на паперти собора. Эта подачка приходилась на шесть человек. Увидев, как Жеборан совершает акт милосердия, епископ с улыбкой сказал сестре:

— Посмотри! Вон господин Жеборан покупает себе на одно су Царствия Небесного.

Когда дело касалось сбора милостыни, епископа не обескураживал отказ, и он нередко находил в этих случаях такие слова, которые заставляли призадуматься. Однажды он собирал пожертвования для бедных в одном из городских салонов. В числе гостей был маркиз де Шантерсье, старый, богатый и скупой человек, ухитрявшийся быть одновременно и ультрароялистом и ультравольтерянцем, — подобная разновидность существовала в то время. Епископ подошел к нему и тронул его за плечо.

— Вы должны что-нибудь дать мне, господин маркиз.

Маркиз оглянулся и сухо возразил:

— Ваше преосвященство! У меня есть свои бедные.

— Так отдайте их мне, — сказал епископ.

Как-то раз он произнес в соборе такую проповедь:

— Возлюбленные мои братья, добрые друзья мои! Во Франции есть миллион триста двадцать тысяч крестьянских домов с тремя отверстиями, миллион восьмьсот семнадцать тысяч домов с двумя отверстиями — дверью и окном, и, наконец, триста сорок шесть тысяч лачуг, в которых только одно отверстие — дверь. Причиной этому является налог на двери и окна. Поселите в этих жилищах семьи бедняков, старых женщин, маленьких детей — вот вам и лихорадка и всякие болезни! Увы! Бог дарит людям воздух, а закон продает его. Я не осуждаю закон, но славлю Бога. В Изере, в Варе, в Альпах, и в Верхних и в Нижних, у крестьян нет даже тачек, они переносят навоз на себе; у них нет свечей, они жгут смолистую лучину и обрывки веревок, пропитанные смолой. Так водится в селениях Верхнего Дофине. Хлеб крестьяне пекут раз в полгода; они пекут его на высушенном коровьем помете. Зимой они разрубают этот хлеб топором и целые сутки размачивают в воде, чтобы можно было его есть. Сжальтесь же, братья, взгляните, как страдают люди вокруг вас!

Будучи уроженцем Прованса, он быстро усвоил все местные говоры Южной Франции и при случае употреблял выражения жителей Нижнего Лангедока, Нижних Альп и Верхнего Дофине. Это очень нравилось простому народу и в значительной степени облегчало епископу доступ к сердцам. В хижинах и в горах он чувствовал себя как дома. О самых возвышенных вещах он умел говорить самыми обычными, понятными народу словами и, владея всеми наречиями, проникал во все души.

Впрочем, он держался одинаково и с простолюдинами, и со знатью.

Он никого не осуждал, не вникнув в обстоятельства дела. Он говорил:

— Проследим путь, по которому прошел грех.

«Бывший грешник» — так он с улыбкой называл себя сам, — он не впадал в крайности ригоризма и открыто, не

хмурая бровей, подобно свирепым святошам, проповедовал учение, которое можно было бы вкратце изложить приблизительно так:

«Человек облечен в плоть, которая является для него одновременно и тяжким бременем, и искушением. Он влачит ее и покоряется ей.

Он должен строго следить за ней, обуздывать, подавлять ее и подчиняться ей лишь в крайнем случае. В этом подчинении также может скрываться грех, но такой грех простителен. Это падение, но падение коленапреклоненного, которое может завершиться молитвой.

Быть святым — исключение; быть справедливым — правило. Заблуждайтесь, падайте, грешите, но будьте справедливы.

Как можно меньше грешить — вот закон для человека. Совсем не грешить — это мечта ангела. Все земное подвластно греху. Грех обладает силой притяжения».

Когда люди начинали громко кричать и спешили выразить свое возмущение, он говорил, улыбаясь:

— Ого! Тут, как видно, дело идет о крупном прегрешении, на которое способен каждый. Вот почему те, у кого совесть нечиста, испугались и спешат отвести от себя подозрение.

Он был снисходителен к женщинам и беднякам, презираемым обществом. Он говорил:

— В проступках жен, детей, слуг, слабых, бедняков и невежд виноваты мужья, отцы, хозяева, сильные, богатые и ученые.

Еще он говорил:

— Учите невежественных людей всему, чему только можете; общество виновно в том, что у нас нет бесплатного обучения; оно несет ответственность за темноту. Когда душа полна мрака, в ней зреет грех. Виновен не тот, кто грешит, а тот, кто порождает мрак.

Как видите, у него была странная и своеобразная манера судить о разных вещах. Я подозреваю, что он заимствовал ее из Евангелия.

Как-то он услышал в одной гостиной об уголовном деле, по которому велось следствие; вскоре должен был состоять-

ся суд. Очутившись без средств, какой-то несчастный из любви к женщине и к ребенку, которого он имел от нее, стал фальшивомонетчиком. В те времена подделывание денег еще каралось смертью. Женщина была задержана при попытке сбыть первую фальшивую монету, сфабрикованную ее любовником. Ее посадили в тюрьму; улики имелись только против нее. Она могла выдать и погубить любовника своим признанием. Она отрицала его вину. Допрос продолжался. Она упорно молчала. И вот королевскому прокурору пришла в голову мысль: он оклеветал любовника, обвинив его в неверности, и с помощью искусно подобранных выдержек из его писем сумел убедить несчастную женщину в том, что этот человек обманул ее и что у нее есть соперница. Обезумев от ревности, она изобличила любовника, призналась во всем, подтвердила все. Человека ждала неминуемая гибель. В ближайшем времени его должны были судить в Эксе вместе с сообщницей. Все говорили об этом происшествии и восхищались ловкостью прокурора. Вызвав ревность, он из гнева извлек истину, а из мести — правосудие. Епископ слушал молча. Наконец он спросил:

- Где будут судить этого мужчину и эту женщину?
- В суде присяжных.
- А где будут судить королевского прокурора? — спросил епископ.

В Дине произошел трагический случай. Один человек был приговорен к смертной казни за убийство. Этот бедняга, не очень образованный, но и не вполне невежественный, был ярмарочным фокусником и ходатаем по делам. Весь город с любопытством следил за процессом. Накануне дня, на который была назначена казнь, заболел тюремный священник. Необходимо было отыскать другого пастыря, который находился бы при осужденном в последние минуты его жизни. Обратились к приходскому священнику. Тот отказался, причем будто бы в таких выражениях:

— Это меня не касается. С какой стати я возьму на себя обузу и стану возиться с этим канатным плясуном? Я тоже болен. И вообще мне там не место.

Его ответ был передан епископу, и тот сказал:

- Кюре прав. Это место принадлежит не ему, а мне.

Он сейчас же отправился в тюрьму, спустился в одиночную камеру «канатного плясуна», назвал его по имени, взял за руку и начал говорить с ним. Он провел с ним весь день, забыв о пище и о сне, моля Бога спасти душу осужденного и моля осужденного спасти свою душу. Он рассказал ему о величайших истинах, которые в то же время являются самыми простыми. Он был ему отцом, братом, другом и, только для того, чтобы благословить его, — епископом. Успокаивая и утешая, он просветил его. Этому человеку суждено было умереть в отчаянии. Смерть представлялась ему бездной. И, с трепетом стоя у этого зловещего порога, он с ужасом отступал от него. Он был недостаточно невежествен, чтобы оставаться совершенно безучастным. Смертный приговор потряс его душу и словно пробил ограду, отделяющую нас от тайны мироздания и называемую нами жизнью. Беспреданно вглядываясь сквозь эти роковые бреши в то, что лежит за пределами нашего мира, он видел одну лишь тьму. Епископ помог ему увидеть свет.

На другой день, когда за несчастным пришли, епископ был возле него. В фиолетовой мантии, с епископским крестом на шее, он вышел вслед за ним и предстал перед толпой бок о бок со связанным преступником.

Он сел с ним в телегу, он взошел с ним на эшафот. Осужденный, еще накануне угрюмый и подавленный, теперь сиял. Он чувствовал, что душа его умиротворилась, и уповал на Бога. Епископ обнял его и в тот момент, когда нож гильотины уже готов был опуститься, сказал ему:

— Убиенный людьми воскрешается Богом; изгнанный братьями вновь обретает отца. Молись, верь, вступи в вечную жизнь! Отец наш там.

Когда он спустился с эшафота, в его глазах светилось нечто такое, что заставило толпу расступиться. Трудно сказать, что больше поражало — бледность его лица или безмятежное его спокойствие. Возвратясь в свое скромное жилище, которое он с улыбкой называл «дворцом», епископ сказал сестре:

— Я только что отслужил торжественную панихиду.

Самые высокие побуждения чаще всего остаются непонятыми, и в городе нашлись люди, которые, обсуждая поступок епископа, сказали:

— Это желание порисоваться.

Впрочем, так говорили только в салонах. Народ же, не склонный подозревать дурное в благих деяниях, был тронут и восхищен.

А для епископа зрелище гильотины явилось ударом, от которого он долго не мог оправиться.

Действительно, в эшафоте, когда он воздвигнут и стоит перед вами, есть что-то от галлюцинации. До тех пор, пока вы не видели гильотину своими глазами, вы можете более или менее равнодушно относиться к смертной казни, можете не высказывать своего мнения, можете говорить и «да» и «нет», но если вам пришлось увидеть ее — потрясение слишком глубоко, и вы должны окончательно решить: против нее вы или за нее. Одни восхищаются ею, как де Местр; другие, подобно Беккарии, проклинают ее. Гильотина — это сгусток закона, имя ее — *vindicta*¹, она сама не нейтральна и не позволяет оставаться нейтральным вам. Увидев ее, человек содрогается, он испытывает самое непостижимое из всех чувств. Каждая социальная проблема ставит перед ножом гильотины свой знак вопроса. Эшафот — это видение. Эшафот — не помост, эшафот — не машина, эшафот — не бездушный механизм, сделанный из дерева, железа и канатов. Кажется, что это живое существо, обладающее непонятной зловещей инициативой, можно подумать, что этот помост видит, что эта машина слышит, что этот механизм понимает, что это дерево, это железо и эти канаты обладают волей. Душе, охваченной смертельным ужасом при виде эшафота, он представляется грозным и сознательным участником того, что делает. Эшафот — это сообщник палача. Он пожирает человека, ест его плоть, пьет его кровь. Эшафот — это чудовище, созданное судьей и плотником, это призрак, который живет какой-то страшной жизнью, порождаемой бесчисленными смертями его жертв.

¹ Наказание (*лат.*).

Итак, впечатление было страшное и глубокое; на следующий день после казни и еще много дней спустя епископ казался удрученным. Почти неестественное спокойствие, владевшее им в роковой момент, исчезло; образ общественного правосудия неотступно преследовал его. Этот священнослужитель, который, выполнив любую свою обязанность, испытывал обычно радость удовлетворения, на этот раз словно упрекал себя в чем-то. Временами он начинал говорить сам с собой и вполголоса произносил мрачные монологи. Вот один из них, который как-то вечером услышала и запомнила его сестра:

— Я не думал, что это так чудовищно. Преступно до такой степени углубляться в божественные законы, чтобы уже не замечать законов человеческих. В смерти волен только Бог. По какому праву люди посягают на то, что непостижимо?

С течением времени эти впечатления потеряли свою остроту и, по-видимому, изгладились из его памяти. Однако люди заметили, что с того дня епископ избегал проходить по площади, где совершались казни.

Каждый мог в любое время дня и ночи позвать епископа Мириэля к изголовью больного или умирающего. Он понимал, что это и есть важнейшая его обязанность и важнейший его труд. Осиротевшим семьям не приходилось просить его, он являлся к ним сам. Он целыми часами молча просиживал рядом с мужем, потерявшим любимую жену, или с матерью, потерявшей ребенка. Но, зная, когда надо молчать, он знал также, когда надо говорить. О чудесный утешитель! Он не стремился изгладить скорбь забвением, напротив, он старался углубить и просветлить ее надеждой. Он говорил:

— Относитесь к мертвым как должно. Не думайте о тленном. Вглядитесь пристальней, и вы увидите живой огонек в небесах — то душа вашего дорогого усопшего.

Он знал, что вера целительна. Он старался наставить и успокоить человека в отчаянии, приводя ему в пример человека, покорившегося судьбе, и преобразить скорбь, вперившую взор в могилу, указав на скорбь, взирающую на звезды.